

**П**роизведение искусства хорошо «или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». Такую вот формулу сильного текста вывел когда-то Лев Толстой. «Что» и «как» здесь в значительной мере определяются изначальным условием — «от души». Этот фактор, как думается, объясняет нам и тот нравственно-эстетический эффект *воспитательного* воздействия на современников исторических романов И. И. Лажечникова, о котором писал Белинский. Одна особенность поэтики той (риторической) эпохи и авторского стиля останавливает внимание: во всех трёх романах («Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман») толпу исторических и вымышленных персонажей ведёт к нам говорливый рассказчик, сказочник, сочинитель. Он то шутит, то негодует, то восклицает, то вопрошает — как будто бы проводит вольную экскурсию по избранной эпохе русской истории (Петра Великого, Анны Иоанновны, Ивана III). И нам становится интересен сам рассказчик: он не скрывает жестоких и прямо бесчеловечных картин прошедшего, но при этом остаётся всегда верен себе, воплощая в слове то качество, которое Белинский же (высоко ценивший и талант, и личность Лажечникова) по поводу Пушкина назвал красивыми словами: «лелеющая душу гуманность». Таков Иван Иванович Лажечников — и не только в сочинениях, им написанных,

но и в жизни, им прожитой. Об этом говорят дошедшие до нас эго-документы, как сейчас принято выражаться, — письма, дневники, мемуары современников. Образ человека по фамилии Лажечников, в них запечатлённый, в чём-то немаловажном подтверждает и дополняет образ автора, встречающий нас на страницах его произведений.

\* \* \*

Хронологически первое из известных нам свидетельств — дневник крупного чиновника и отчасти писателя **Кастора Никифоровича Лебедева** (1812–1876). Будущий сенатор учился в пензенском уездном училище, когда директором его был И. И. Лажечников. А дальше — уже знакомый сюжет: бывший ученик приезжает в Москву поступать в университет на словесное отделение и останавливается у бывшего учителя (который само университетов не кончал). Говоря «знакомый сюжет», я имею в виду точно такую же историю с В. Г. Белинским: будущий великий критик всю жизнь потом вспоминал о природной отзывчивости Ивана Ивановича, родственно равнодушного к судьбам талантливой молодёжи.

Вот запись о Лажечникове в дневнике К. Н. Лебедева: «Иван Иванович человек высочайшей степени добрый, откровенный, совестливый, нежный, следовательно пылкий, следовательно не упорный, следовательно способный для идеальных впечатлений»<sup>1</sup>. Развёртывая далее эту характеристику в сторону творчества Лажечникова («Но он был, кажется, под влиянием более впечатлений, нежели созданий»), Лебедев довольно критично оценивает его как исторического писателя: «Мы толковали об эпохах его романов. Видишь, слышишь, что человек читал о лицах, о времени, но не чувствуешь, что он жил с этими людьми; он как будто рассказывает понаслышке, прибавляет соображаясь как бы и что; толк для него история, образец для него аналогия». Критике Лебедева не откажешь в пронизательности, правда, несколько однобокой: он сам признаёт, что читал только роман «Последний Новик», хотя разговоры с автором относит к 1828, 1830, 1832–1833 и 1837 годам, когда вышел уже и «Ледяной дом» (1835), им ещё не прочитанный. «Басурмана» (1838) он прочитает позднее и вынесет суровый приговор: «хуже двух первых». В придирчивых суждениях Лебедева сказался не только неуступчивый консерватизм, но и шеллингианские по своему духу представления об исторической науке и беллетристике: в 1834 году он выпускает книгу с длинным заглавием «История. Первая часть введения: Идея, содержание и форма истории» и тогда же сопровождает её злой пародией на современных историков «О Царе Горохе. Когда царствовал Царь Горох, где он царствовал и как Царь Горох перешёл в преданиях народа до отдалённого потомства». Возможные предметы разговоров романиста со своим весьма подкованным читателем — тема заманчивая, но пока отложим её в сторону и вернёмся к не менее волнующей проблеме личности писателя и к тому следу, который она оставила в памяти современников.

<sup>1</sup> Из записок сенатора Кастора Никифоровича Лебедева // Русский архив. 1910. № 7. С. 368–369.

\* \* \*



Большой пласт мемуаристики относится к тверскому периоду биографии Лажечникова. Самый живой интерес представляют воспоминания **Татьяны Петровны Пассек** (1810–1889), «корчевской кузины» А. И. Герцена. В мемуарах, в словесных портретах невольно отражается и лик самого мемуариста. Точную характеристику Т. П. Пассек дал, как нам представляется, Н. С. Лесков: «Это был ум ясный, пронизательный, гибкий и деловой. Ей было

свойственно большое добросердечие и ласковость, и через них реализм её ума не был груб, а был мягок и приятен. Это был ум, если так можно выразиться, уветливый. <...> Симпатии её, без всякого сомнения, лежали на стороне идей гуманитарных и добрых...»<sup>2</sup> А теперь, зная самое главное о мемуаристке, перечтём её записи, относящиеся к зиме 1833–1834 гг.

Зимой мы <с мужем Вадимом> поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды, на бале в Благородном собрании, я заметила в толпе человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо; над высоким лбом был приподнят вверх целый лес волос с проседью. Движения его были торопливы и робки.

— Кто это такой? — спросила я одну даму, указывая на него.

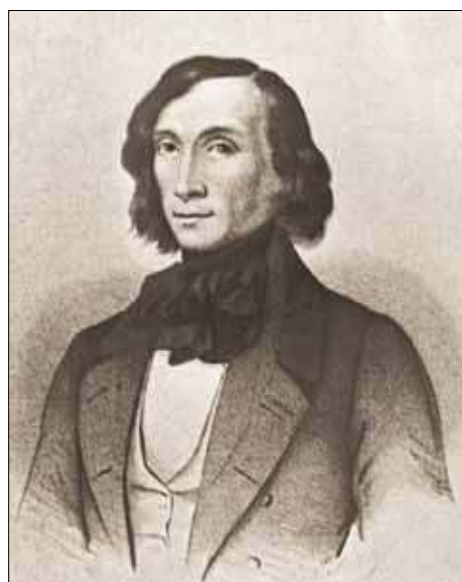
— Иван Иванович Лажечников, — отвечала она, — директор гимназии, писатель.

— Автор «Последнего Новика»? — поспешно прервала я её. — Это наш первоклассный романист! Что за прелесть его «Новик»! Если вы знакомы с ним, сделайте одолжение, представьте ему нас.

Спустя несколько минут Лажечников уже сидел между мною и Вадимом, и у нас шёл такой оживлённый разговор, что мы не замечали, как мимо нас мелькали танцующие пары и не слышали, как гремел оркестр музыки.

С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трёх месяцев, проведённых нами в Твери, редкий день с ним не видались. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман «Ледяной дом» и читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства и мысли их отражались в чертах его лица, в его голосе — и картины оживали.

<sup>2</sup> Лесков Н. С. Литературная бабушка // Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 215–216.



<...> никто так искренно и глубоко не привязался к нам, как Лажечников. Почувствовав к кому-нибудь симпатию, он отдавался весь, пылко, искренно, как юноша. Он и был юноша, несмотря на свои сорок лет.

<...> Он был юноша из числа той фаланги юношей, которые названы Сашей <Герценом> героическими детьми, выросшими на мрачной поэзии Жан-Жака <Руссо>, к которым он причисляет всех детей революции и которые в наш настоящий деловой век встречаются так редко, так редко, как *южная птица у полюсов*.

Быть молодым ещё не значит быть юным. Можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Для одного юность — эпоха, для другого — целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не всё. Юношеские грёзы смешны и жалки в человеке старом. До гроба должна сохраниться юношеская энергия, непрерывно обновляющаяся, развивающаяся, почти не имеющая способности стареться, она по преимуществу — душа живая. Такова натура реальная, — сказано в «Капризах и раздумье» <Герцена>. Таков был Иван Иванович Лажечников.

Он женился на первой жене своей, будучи ещё очень молодым, находясь адъютантом при генерале, не помню каком. Он увёз её из девичьей, из-за пялец, как-то через окно. Это была женщина рассудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, как нянька ребёнка; но постоянным наблюдением и замечаниями стесняла до того, что он робел перед нею, был покорен и, выкинув какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, как напроказившее дитя. Мы нередко проводили у них целые дни, ещё чаще он проводил у нас во флигеле вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали от сдерживающего взора жены он весь отдавался многосторонним интересам разговора; так свежо, сердечно хохотал иногда безделице, что заражал своей жизненностью всё его окружавшее, и самый воздух, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишком поздно засидевшись, он вдруг схватывался, как бы опомнясь от утара, улыбался улыбкой виноватого, предчувствующего наказание, и торопливо начинал собираться домой, часто говоря: «Беда, как это всегда с вами заговоришься...»<sup>3</sup>

Где-то через год с автором только что вышедшего «Ледяного дома» сблизится один из выдающихся деятелей эпохи, «центральный» человек

<sup>3</sup> Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания: в 2 т. М., 1963. Т. 2. С. 23–25.

звёздного кружка молодых московских интеллектуалов **Николай Владимирович Станкевич** (1813–1840). В письме другу Я. М. Неверову 4 ноября 1835 года Станкевич сообщал о Лажечникове:

Я познакомился с ним ещё в Москве, потом был у него в Твери. Человек не молодой, за 40, седой ещё с молодости, приятной наружности, небольшого роста, тихий, добрый, умный, но какой-то нерешительный в мнениях. Последнее понятно: начав жить в 18 веке и упитанный его началами, он подался однако за молодёжью, хоть совершенно сравняться с нею ему было трудно. Но он всё-таки приобрёл лучшие достоинства XIX века и должен любить его за то, что он венчает его седую голову. В его романах я не вижу решительного таланта, но умный, серьёзный взгляд на вещи, чувство истинное и благородное, любовь к России и правде. Он затевает ещё два романа: «Колдун на Сухаревой башне», в котором главное лицо Брюс, а другой из времён Иоанна III <«Басурман»>. Герой его немецкий лекарь, казнённый за то, что не вылечил татарского князя, героиня — русская девушка, которая любит этого немца по-своему; здесь же будет и Аристотель Болонский <Фиораванти, архитектор Успенского собора в Москве>. Лица преинтересные, но наши летописи не дадут ему никакого понятия о их характере, а создавать он не мастер. Впрочем, он всё-таки лучший романист после Гоголя, которому равного я не знаю между французами. Это истинная поэзия действительной жизни.<sup>4</sup>

Как видим, оба свидетельства, Пассек и Станкевича, указывают на одно фундаментальное свойство личности Лажечникова — его открытость новому, молодому, далеко не совпадающему с канонами привычной, устоявшейся жизни. Он был порождением эпохи ментального сдвига и самоопределения русского человека (1812 год), к тому же и от природы наш герой наделён был талантом благожелательства в высшей степени.

\* \* \*

В декабре 1834 года Лажечников, будучи директором училищ Тверской губернии, побывал с ревизией в кашинском уездном училище. Его ласковая и ободряющая речь к детям запомнилась на всю жизнь ученику первого класса **Илье Рогозинникову** (1826–1893)<sup>5</sup>, в будущем директору шуйской гимназии, автору книжек и статей о литературе и педагогике. Вообще говоря, с детьми Иван Иванович быстро и легко находил общий язык: в нём самом до глубокой старости не умирала детски простодушная открытость миру, сердечное равнодушие к интересам малых сих. Ещё одно свидетельство о том — хранящиеся в архиве воспоминания **Михаила Николаевича Милюкова** (1845–1875), написанные в 1871 году для журнала «Русская старина», но так и не дошедшие до печати.

В 1850 году покойный Иван Иванович был вице-губернатором в Твери, где служил в то время и отец мой, который кроме сношений по службе пользовался приятельством Лажечникова. Меня, ещё тогда пятилетнего ребёнка, Иван Иванович очень любил и баловал; да и вообще

<sup>4</sup> Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982. С. 129.

<sup>5</sup> Рогозинников И. Воспоминание об И. И. Лажечникове // Древняя и новая Россия. 1880. Т. 16. № 4.

он любил детей, что подтвердят все, знавшие его чистую, безупречную, детскую натуру, его честный, поэтический и даже несколько наивный взгляд на жизнь, что всё, однако, не помешало ему, как известно, быть полезным и безукоризненным деятелем на поприще государственной службы и, кроме того, при самых неблагоприятных условиях, суметь разгадать в 14-летнем Белинском те задатки, благодаря которым из последнего вышел впоследствии труднозаменимый для России боец мысли, правды и слова.

Раз Лажечников подарил сестре моей незадолго перед тем вышедшее иллюстрированное издание басен *дедушки Крылова* — издание ныне довольно редкое и присланное ему в подарок самим баснописцем. Из этой книги в именины Ивана Ивановича, а иногда и так просто, меня заставляли выучивать наизусть и говорить ему какую-нибудь басню. Кроме того, получив понятие о «дедушке Крылове», я и Ивана Ивановича ни в глаза, ни за глаза, не называл иначе, как «дедушка Лажечников», что ему очень нравилось. Как-то у кого-то увидал я *альбом* — и вскоре затем на вопрос Ивана Ивановича: «Что тебе подарить к празднику?» — отвечал: «Подарите мне альбом и напишите в нём стихи... Ведь я знаю, дедушка Лажечников: вы поэт!.. Вы за своим большим зелёным столом всё сидите да стихи сочиняете!..» Через несколько дней я получил альбом с надписью на заглавном листке: «Мише Милюкову на память от дедушки Лажечникова ко дню Святого Христова Воскресенья, 1850 года».

Все эти обстоятельства сам я, разумеется, помню, как сквозь сон, но память о них живо сохранилась в нашем семействе.

Как надпись, так и стихи, от начала до конца, писаны самим Иваном Ивановичем.

## I

### МОЛИСЬ

Молись, дитя! молись!.. Творя молитву,  
Не обдели ты ею никого:  
Ни мать, ни отца, ни близких сердцу,  
Ни их врагов, кругом во тьме ходящих.  
Ни сирого, ни бедную вдову,  
Ни богача, погрязшего в грехах.  
Всех обойди молитвой круговой:  
Владык земных, чтоб свой народ любили  
и правили им по подобию Божью —  
И милостью и праведной грозой;  
Народы, чтобы во владыках чтили  
Своих отцов — Помазанников Свыше; —  
В своей молитве помяни  
И злого, чтоб Господь привёл к добру,  
И доброго, чтоб злые не смутили  
Восторга чистого души его,  
И на земле роящих в суете,  
И мертвых, от сует в земле почивших!

Молитва детская так Господу доступна —  
Не согреси ж: не позабудь  
ты в ней кого-нибудь.  
И знаю я, когда ты за меня молился:  
С груди свалится будто камень,  
И самого меня Господь  
На светлый пир молитвы позовёт —  
И обновлюсь в купели слёз душою!

*15 апр. 1850. Лажечников  
9 ч. вечера*

## II

Куплеты из оперетки  
«Новобранцы 12-го года»  
Ванечка — матери

### 1.

Отпусти меня, родная,  
Куда просится душа;  
Не обрезывай ей крылья:  
Жизнь ей волей хороша.

### 2.

Соколы когда слетелись,  
Как на пир, на смертный бой,  
Мне ль в железной клетке  
Просидеть час роковой?

### 3.

Посмотри, каким я франтом  
Возвращусь с военных сеч:  
При бедре за храбрость меч,  
На груди Владимир с бантом.

### 4.

И тогда в Собраньях скажут:  
«Молод так, а кавалер!  
Видно, храбрый офицер!»  
И на мать мою укажут.

*Л.*

Вот эти два стихотворения, списанные здесь со всевозможной точностью во всём. Первое из них, надо полагать, написано экспромтом. На мысль эту наводят — пометка года, числа и даже часа внизу и то ещё обстоятельство, что Лажечников брал после альбом к себе. Во второй строке слово *не обдели* переправлено им (чернилами) из слова *не обнеси*.

Строка: «в своей молитве» — вписана его же рукою (карандашом) между предыдущей и последующей строками. «Куплеты из оперетки» подписаны одною буквою Л., без пометки года и числа. Любопытно было бы доискаться, не осталось ли после покойного этой оперетки в конечном виде или черновых набросках? <...><sup>6</sup>

Судя по всему, интерес к детям связан был не только с особенностями личности и с педагогической профессией, он ещё подогревался драматическими обстоятельствами семейной жизни Лажечникова, отразившимися в написанной им эпитафии «Нашему младенцу». Дети (трое) появились только от второго, очень позднего брака, и сделались предметом особенно острой печали писателя, умиравшего в бедности. Его просьбу позаботиться о сиротках добросовестно исполнил Пётр Андреевич Вяземский, друг Пушкина, как и он, высоко ценивший литературное дарование и личное достоинство Лажечникова.

\* \* \*

Стихотворение «Молись, дитя!» Лажечников вписал в альбом ещё одному ребёнку — сыну своего приятеля, редактора журнала «Пантеон» Ф.А. Кони, Анатолию, будущему знаменитому юристу. **Анатолий Фёдорович Кони** (1844–1927) с его обширным кругом литературных знакомств оставил богатое мемуарное наследство, в котором не затерялась статья «Из студенческих лет. И. И. Лажечников и А. Ф. Вельтман».

Ивана Ивановича Лажечникова я увидел впервые в половине пятидесятых годов у моего отца, связанного с ним старыми дружескими отношениями. Я уже успел прочесть «Басурмана», «Последнего Новика» и «Ледяной дом» и был под сильным впечатлением этих, замечательных для своего времени, романов <...>. Понятно, с каким чувством смотрел я на автора — подвижного старика, невысокого роста, с зачёсанными на средину головы редкими седыми волосами, мягкими и добрыми чертами лица, с молодыми светло-серыми, почти голубыми глазами и живою речью. Мне не раз приходилось присутствовать при его жалобах на тяжесть своего служебного положения. Дело в том, что горячий сердцем и увлекающийся старый романист не мог переносить одиночества, и семейная жизнь была для него насущною необходимостью. Второго апреля 1853 года он писал моему отцу: «В моём молчании не извиняюсь: меня постигло ужасное несчастье, которое сокрушило всю мою жизнь. Четвёртого ноября прошлого года скончалась моя добрая подруга, подарившая мне 32 года счастья. Болезнь её была мучительна; сердце моё изныло, смотря на её ужасные страдания, продолжавшиеся несколько месяцев. Преданная всю жизнь Богу, религиозная как первобытная христианка, любившая ближнего до самоотвержения, знавшая одну только страсть — страсть к мужу, — эта превосходная, святая женщина кончила жизнь как мученица. Если нет другой жизни, так что же и на что добродетель в здешней?..» Но уже

<sup>6</sup> Милюков М. Н. Нечто об Иване Ивановиче Лажечникове // РНБ. Ф. 265. Оп. 2. № 1409. Текст оперетки «Новобранцы 12-го года» впервые опубликован: Дом Лажечникова. Историко-литературный сборник. Вып. 1. Коломна, 2014. Публикацию подготовила А. С. Бессонова.





4 августа того же года он прислал письмо, ярко его самого характеризующее. «Вы удивитесь,— писал он,— если я вам скажу, что я — шестидесятилетний старик — женился на двадцатидвухлетней девушке. Кажется, это последний мой роман. Каков будет его конец — Богу известно!.. Зная, как безрассудны союзы при таком неравенстве лет, я сам на такой решился! Обстоятельства, устроенные невидимою рукою провидения, романическая голова, пыл юноши, несмотря на мои годы,— всё это привело меня к этой развязке. Покуда я блаженствую... а там... да будет, что угодно Вышнему!..»

<...> В Москве он жил долгое время у Смоленского рынка, в Ружейном переулке. Встреченный им с особой приветливостью, я, насколько позволяли занятия, изредка, по воскресеньям, посещал его до переезда моего в Харьков в 1867 году. Несмотря на свои семьдесят с лишком лет <...>, он всем живо интересовался: то пылал гневом на разные явления в литературе, не подходившие ко взглядам романиста старой школы, то теплился умилением пред начавшимися «великими реформами» нового царствования. Особенно приводили его в восхищение обнаруженные в 1862 году основные начала судебного преобразования. В разговоре и в переписке со мною он возмущался Писаревым, который «хлещет зря кого ни попало, не разбирая, Милль ли то, Пушкин или Маколей. Точно одна из наших широких натур, вроде молодчика из богатых купчиков, бросающих бутылкою в картину знаменитого художника». «Кто не признает в Писареве ума? — писал он в 1866 году, когда я пытался защитить пред ним яркого критика. — А между тем на что он тратит его? И Герострат был не дурак». Враждебное отношение старика к Писареву распространялось и на «Русское слово», где последний был самым выдающимся сотрудником.

Журналу своему, с понятием узким,  
Какое хочешь имя дай:  
Ослиный рёв, собачий лай,  
Но только словом «русский»  
Его никак не называй, —

писал он в том же году, продолжая возражать мне.

<...> неистощимым был он в своих воспоминаниях о войнах 1812 и 1813 годов. Он весь воспламенялся, когда рассказывал, как очевидец, о картине опустошённой и истреблённой пожаром Москвы, о вступлении



наших войск в Париж и о битве под Кульмом 17 августа 1813 года, где русской гвардии в числе восьми тысяч человек пришлось бороться с корпусом Вандама, в пять раз сильнейшим, и где проявили удивительное мужество и стойкость Ермолов и Остерман-Толстой, причём последний, при котором двадцатитрёхлетний Лажечников был адъютантом, потерял руку. К памяти Остермана-Толстого он относился с благоговением, считая его одним из замечательнейших людей, встреченных им в жизни.

Но было одно, что омрачало все его воспоминания, ложилось тяжким бременем на его сердце и заставляло тревожно задумываться над будущностью семьи. Во время вице-губернаторства в Твери он, по доверчивости к тому, что в Приказе общественного призрения, где постоянно председательствовал губернатор, всё в порядке, не обнаружил, при временном исполнении должности последнего, систематических злоупотреблений и подлогов, много лет практиковавшихся целой шайкой служащих в приказе. Когда проделки последних были, наконец, открыты, — большинство из них умерло, и бедный Лажечников был присуждён к ежегодному вычету из скромной пенсии половины, то есть 750 рублей. Он жаловался, протестовал, писал объяснительные записки и надеялся, что дело будет пересмотрено. «Дай Бог, чтоб я ещё дожил до этого времени, — писал он мне 1 января 1866 года, — и мог добиться, чтоб оградить жену и детей от этого вычета. А если умру, то будьте, прошу вас, моим адвокатом...» Надежду, что с открытием новых судов я непременно поступлю в адвокатуру и приму на себя его защиту, он высказывал не раз и в разговорах со мною. Его добрые светлые глаза затуманивались, когда он говорил о своём деле, — и невольный тяжёлый вздох обличал, какой камень лежит у него на душе...<sup>7</sup>

\* \* \*

История, омрачившая последние годы жизни писателя, раскрыта в воспоминаниях **Августа Казимировича Жизневского** (1819–1896), сослуживца, многолетнего друга и корреспондента Лажечникова. Он непосредственно участвовал в расследовании этого преступления и потому является для нас наиболее достоверным источником. Жизневский отмечает «крайне впечатлительный характер» и «необычайную доброту» своего приятеля, сочетавшиеся, увы, с «отсутствием практичности в жизни», что, вероят-

<sup>7</sup> Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 70–77.

но, и сыграло роковую роль в развернувшейся истории. Не каждый поэт может легко переключаться с «возвышающего обмана» поэзии на «тьму низких истин» реальной жизни (как то умели младшие современники Лажечникова Некрасов и Фет; Ивану Ивановичу же по типу личности, пожалуй, был ближе Полонский). Вот что писал Жизневский:

По Тверскому приказу общественного призрения расхищение сумм производилось всевозможными способами. Начал это расхищение неприменный член Никифоров, утаивая получаемые суммы приказа, и затем подложным способом вытребовав из Государственного заёмного банка по 40 билетам, на сумму 170000 р., проценты в количестве более 19 тысяч рублей, также утаив их.

В то же время и другие чиновники канцелярии приказа стали похищать суммы его разными способами: то посредством вторичного получения сумм по уплаченным билетам приказа, то посредством предъявления фальшивых билетов приказа, то посредством вторичной выписки сумм в расход. Такое расхищение сумм приказа, выразившееся 32 следственными делами и простиравшееся с процентами на похищенную сумму до 63 тысяч рублей, продолжалось с 1839 г. до 1850 г. <...> Это расхищение происходило при тверских губернаторах Бологовском и Бакунине, а также при исправлявших должность губернатора вице-губернаторах Глушкове, И. И. Лажечникове и председателе гражданской палаты Мистрове. По должности товарища председателя Тверской уголовной палаты мне пришлось участвовать в решении этого огромного дела, в котором было более 90 подсудимых лиц. Решение это утверждено Правительствующим Сенатом. Кроме того, по указу Правит. Сената пришлось также участвовать в распределении обеспечения растраченных сумм во время их управления губернию. Таким образом, в числе других, на губернатора Бакунина из 15897 р., расхищенных при нём, упало 11400, на губернатора Бологовского из 10568–5340, на вице-губернатора Ив. Ив. Лажечникова из 38786 р.— 17298 р. и т.д. Сделанный Палатою расчёт признан правильным министром внутренних дел (1855 г.). Но так как от губернаторов и лиц, исправлявших их должность, а также председателя казённой палаты и губернских прокуроров не было истребовано объяснений, то наложение на их имущество запрещения оттянулось до 1865 г. и тогда только сделалась известною Ивану Ивановичу эта печальная действительность. <...> ...он вознегодовал на меня за сделанный Уголовною палатою означенный расчёт для обеспечения растраты, считая его неправильным <...>. Действительно, И. И. Лажечников не сознавал своей вины как временно управлявший губернию и временно председательствовавший в приказе, он, можно сказать, попал в руки шайки грабителей, которая расхищала суммы приказа, прикрываясь крайним беспорядком, допущенным губернаторами, сначала Бологовским, а потом Бакуниным. Тем не менее Уголовная палата <...> не могла не видеть, что Иван Иванович <...>, ревизуя суммы приказа в августе месяце 1844 г., не усмотрел недостатку 40 банковых билетов на сумму 170 тысяч рублей, которые тайным образом вынуты были неприменным членом Никифоровым из казённого сундука и отосланы им в Государственный заёмный банк для получения по ним процентов. Затем И. И. Лажечников дал Никифорову уполномочие на получение с почты этих процентов в количестве 19912 р. И не наблюдал за запискою их на приход, чем допустил похищение их Никифоровым.

Быть может, Никифоров, зная непрактичность Ив. Ив., решился на такое крупное хищение во время управления им губерниею.

Нельзя не привести здесь следующий анекдот, характеризующий самоуверенность Ивана Ивановича, который, когда обнаружилась выдача сумм по подложным билетам, сказал: «я уверен, что мою подпись никто не подделает». Но вскоре показали ему один билет; Иван Иванович признал на нём свою подпись за настоящую. Каково же было его удивление, когда ему доказали, что эта подпись фальшивая!

<...> В 1869 г., по случаю 50-летнего юбилея литературной деятельности Ивана Ивановича, я принял участие в посылке ему из Твери адреса и подарка. Это обстоятельство послужило Ивану Ивановичу поводом написать мне последнее письмо от 5 мая 1869 г. за полтора месяца до его смерти...<sup>8</sup>

\* \* \*

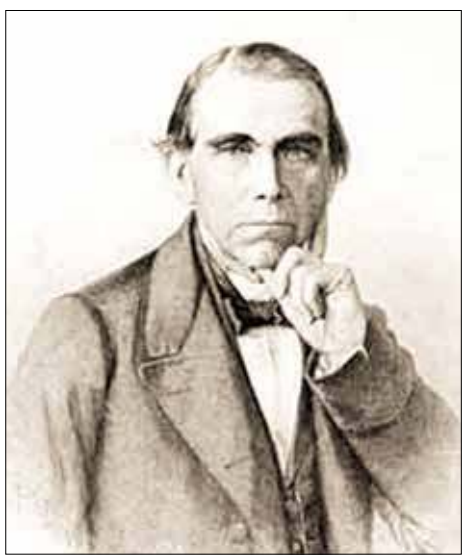
К упомянутому юбилею и последним дням жизни Лажечникова мы ещё вернёмся. А теперь нас ожидает Петербург и Цензурный комитет, столь ненавистный ему как писателю, пострадавшему от многолетнего запрета его романов. Однако именно в это заведение определился стареющий писатель, чтобы выработать два года, недостающих до полного пенсионера. Самый момент определения запечатлён в письме 12 ноября 1855 г. **Петра Александровича Плетнёва** (1791–1865) к П. А. Вяземскому. Оба когда-то близкие друзья Пушкина, теперь же первый — ректор университета, а второй — товарищ (по-нашему зам.) министра народного просвещения и начальник Главного управления цензуры. В письме читаем: «Какое счастье: когда я занят был мыслию, кого бы рекомендовать Вашему сиятельству на имеющую открыться вакансию цензора, ко мне является столь известный и столь любимый наш романист Лажечников. Во время разговора с ним я заметил, что он совсем не прочь бы от должности цензора. По моему мнению, ничего нельзя и придумать лучше. Лажечников — человек образованный, с тактом и сам писатель»<sup>9</sup>.

«Ничего нельзя и придумать лучше» — так оно с точки зрения благодушного Плетнёва, но совсем не так оказалось на деле. Миротлюбивый и деликатный Лажечников не очень-то подходил для новой своей должности, она приносила ему неисчислимые душевные страдания, и потому, как только закончился необходимый для пенсионера срок службы, он немедленно подал в отставку. Об этом периоде сохранился целый ряд письменных свидетельств современников.

На пост цензора Лажечников заступил 23 мая 1856 года. Ему было поручено наблюдение за журналом «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского и А. В. Старчевского. Уже на первых порах его ждала конфликтная ситуация, вошедшая затем в историю русской литературы: Лажечников не пропустил в печать статью М. Е. Салтыкова-Щедрина «Стихотворения Кольцова». Представим, как это случилось. Статья легла на стол цензора, и его красный карандаш прошёлся по тем местам, где говорилось о действительности искусства в современной общественной жизни: предлагалось смягчить их. Получив статью обратно с пометами цензора, автор переделал её, однако и новый

<sup>8</sup> *Жизневский А. К.* Памяти И. И. Лажечникова. Тверь, 1895. С. 5–8.

<sup>9</sup> *Плетнёв П. А.* Сочинения и переписка. Т. 3. СПб., 1885. С. 425.



вариант не был цензором пропущен. Е. Я. Колбасин с удивлением писал о сем обстоятельстве А. В. Дружинину 16 августа 1856 г.: «Салтыкова разбор о “Кольцове” Лажечников, сей благодушный старец, не пропустил». Завесу приоткрывает письмо Вл. Н. Майкова тому же Дружинину от 31 июля 1856 г. с жалобой на редакторство А. В. Старчевского: «...он ничего не делает, а портит дело тем, что смущает разные лица, в том числе и доброго старичину Лажечникова. Статья Салтыкова запрещена: я уверен, что это дело

рук Старчевского, который написал Печаткину <издателю «Библиотеки для чтения»>, что такие статьи перевернут всё вверх дном, погубят журнал и что он за такие статьи (а эта, не забудьте, уже была смягчена) не отвечает. Мне неловко было отправляться к цензору, т.к. я не официальное лицо, а Старчевский, как редактор, мог бы внести статью в <Цензурный> Комитет, где она, ещё раз исправленная автором,— прошла бы непременно»<sup>10</sup>.

Как видим, решающую роль в запрещении статьи Салтыкова-Щедрина сыграл даже не цензор, а один из редакторов журнала. Не случайно вскоре после того издатель предложил редакторскую должность А. В. Дружинину (который, кстати, любовно-ласково называл Лажечникова: «отличный и знаменитый старикашка»)<sup>11</sup>. Можно себе представить, какие чувства испытал цензор, оказавшийся крайним на этой разборке в стенах редакционной кухни. Методы же, которыми пользовался Лажечников-цензор, видны из его письма Старчевскому 14 ноября 1856 г., когда он пишет редактору по поводу статьи Г. Е. Благосветлова «Современные поэты: Огарёв и Некрасов»: «Попросите автора исправить не по моим указаниям, а посоветоваться с своим благоразумием <...>. Мои отметки служат только указанием, но автор может с ними и не согласиться. Прошу только одного — пусть извинит меня, старика, за выражения». Удивительное дело: цензор извиняется за своё цензурование! Кстати, в том же письме находим ещё одно проявление «фирменной» деликатности нашего героя. Благосветлов в своей статье поставил его рядом с Пушкиным и Гоголем, на что последовал самоотвод: «Чести стоять между Гоголем и Пушкиным я не заслуживаю, да и неловко цензуровать статью, в которой автор так хвалит цензора, и потому прошу строки обо мне исключить»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Письма А. В. Дружинину / Летописи Государственного литературного музея. Вып. 9. М., 1948. С. 200–201.

<sup>11</sup> Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 366.

<sup>12</sup> Литературное наследство. Т. 53–54. С. 104–105.

Заинтересовавший нас корреспондент Лажечникова **Альберт Викентьевич Старчевский** (1818–1901) в том же 1856 году преобразовал хиреющий журнал «Сын Отечества» в дешёвую еженедельную газету, в чём весьма преуспел и сколотил на этом деле немалый капиталец. «Гвоздём» каждого номера был фельетон «Листок» небезызвестного балагура и остролова Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского). С 10 июня 1856 г. цензором «Сына Отечества» был назначен И. И. Лажечников. О работе с ним Старчевский написал в своих «Воспоминаниях литератора». Здесь находим следующую характеристику Лажечникова (его фамилию мемуарист писал по-старинному «Ложечников»):

«Он очень хорошо понимал, о чём идёт речь, был очень осмотрителен, и хотя сам был литератор, но “Листки” чистил и наводил на них глянец... Видно было по всему, что для него это была работа Тантала; он стеснялся и рад был отделаться от цензурования “Сына Отечества”»<sup>13</sup>.

Стеснительность цензора — уже знакомый нам парадокс, и такими парадоксами были преисполнены эти страницы биографии Лажечникова. Приведём колоритную картину из воспоминаний Старчевского, рисующую будни цензора и редактора.

<...> Наконец дело доходит до цензуры. Листок отправляется цензору в пятницу вечером или в субботу утром. Цензор начинает с замечания: зачем ему так поздно доставили фельетон, когда завтра должна выйти в свет газета; между тем рассыльному велит подождать. Цензором был известный романист Иван Иванович Лажечников. Он пробегает «Листок», отмечает некоторые места красным карандашом, в других ставит вопросительные знаки, некоторые выражения изменяет, другие прямо властной рукою и красными чернилами зачёркивает. Спустя полтора часа призывает рассыльного и передаёт ему написанную ко мне пригласительную, краткую, но многозначительную записочку в нескольких словах. «Пожалуйста, добрейший такой-то, для необходимых объяснений, в таком-то часу», — или просто скажет рассыльному: «Попроси ко мне г. Старчевского, нам нужно повидаться. Я его жду к такому-то часу».

Приходит рассыльный в редакцию и объявляет сказанное ему цензором или передаёт записочку. Нетрудно себе представить, с каким чувством редакторы обыкновенно встречают такие приглашения!.. Суббота — день выпуска журнала, хлопоты, посещения сотрудников и посторонних лиц, почему-либо желающих объясниться с редактором, а тут ещё сюрприз от цензора! Нечего делать, проклиная подобную процедуру издания газеты, идёшь к цензору, который встречает вас с кислой миной и замечанием: «Я не понимаю, что за охота нашему почтенному О. И. <Сенковскому> касаться таких предметов... и в такой форме... ведь он знает, какое нынче время»... Полиция и цензора всегда имеют привычку при исполнении своих обязанностей приговаривать: «нынче пошли строгости... теперь очень строго смотрят на это».

— Да и зачем ещё наш почтенный Осип Иванович избрал для своих фельетонов иносказательную форму; положим, что он, как ориенталист, предпочитает эту форму другой... но я должен вам прямо сказать, что своей властью я этого «Листка» пропустить не смею, не могу, из-за него меня выгонят из службы, я лишусь пенсионера, а мне до него осталось

<sup>13</sup> *Старчевский А. В.* Воспоминания литератора // Исторический вестник. 1892. № 11. С. 329.

всего один год и пять месяцев... Ну, будьте сами моим беспристрастным судьёй: как вы поступили бы на моём месте?.. Да и зачем «Листок» не представляется до заседания цензурного комитета, тогда можно было бы объясниться, решить, что и как сделать, а теперь что?

— Вы скажите это Осипу Ивановичу,— замечаю я,— он всю неделю просиживает над своим «Листком» и только в пятницу, редко в четверг, присылает его в типографию для набора.

— Это очень жаль, что нельзя изменить этого порядка. Но скажите пожалуйста, А<льберт В<икентьевич>, как на ваш взгляд этот «Листок»?

— Я его ещё не читал и ничего вам сказать не могу; он доставляется вам и мне одновременно, я был занят другим делом и только что хотел было приняться за чтение, как рассыльный принёс от вас приглашение...

— Я, право, не знаю, что мне делать. Надо отправиться к председателю, попросить ему отмеченные мною сомнительные места. Застану ли я его дома, примет ли он меня сегодня, да и в городе ли он сегодня?..

Начинается чтение отмеченных мест, идут рассуждения, даются мною ответы на сделанные цензором вопросы. Но всего этого мало. Иван Иванович, всё-таки, находит нужным побывать у председателя, а то, пожалуй, съездить и к самому князю Петру Андреевичу (Вяземскому, товарищу министра); начинается облачение — выступают тут же, без церемонии, на сцену белые панталоны с золотыми лампасами, мундир, ордена... начинается ворчание, сыплются проклятия на трудную цензорскую службу; наконец, подаётся с негодованием рука, делается умильная улыбка *a la* чёрт бы тебя взял с твоим «Листком», и Иван Иванович, кланяясь, уже одетый полным действительным статским советником, произносит: «Пришлите рассыльного в 8 часов вечера, увидим, что́ будет».

Между тем номер «Сына Отечества» совсем уже готов, можно было бы приступить к вёрстке первого листа, в котором идёт фельетон барона Брамбеуса, но ничего не поделаешь: от цензора ждут разрешения. Метранпаж, корректор, ещё кто-нибудь из сотрудников ждут не дождутся рассыльного от цензора, зевают, жгут немилосердно папиросы, перебирая все косточки барона Брамбеуса: зачем он пишет такие задорные листки; проклинают цензора, зачем он задерживает дело, и успокаиваются на том, что посылают с горя за тремя парами пива...


В десять часов вечера возвращается, наконец, рассыльный, весь в поту, бежавший от цензора без оглядки, чтобы типография скорее могла приступить к печатанию номера... Корректор купно с метранпажем развёртывают со страхом полученную от цензора форму и замирают от ужаса... На «Листке» Сенковского нарисована красными чернилами не то географическая карта, не то таблица, представляющая высоту всех гор земного шара...

«Листок» этот читал сперва цензор, делал свои замечания и херил, потом читал председатель и опять делал свои замечания и херил; наконец, читал князь Вяземский и тоже делал свои замечания церковнославянским полууставом и херил, и вышла великолепная цензурная мозаика, под которой внизу рукою Лажечникова обыкновенно писалось в виде особенного личного расположения и любезности: «Слава Богу, всё обошлось благополучно, отстоял-таки «Листок», можете теперь печатать без опасения, кажется, ничего не изуродовали»... А между тем, в сущности, он

отстоял собственно лишь бумагу, на которой напечатан «Листок»...<sup>14</sup>

\* \* \*

С декабря 1856 г. по апрель 1857 г. Лажечников цензурет журнал «Современник» Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. Он попадает, что называется, из огня да в полымя: радикализм «Современника» был не в пример опаснее злоречия Сенковского. Тем не менее 3 января 1857 г. Панаев радостно сообщил Тургеневу: «Лажечников — не



портит»<sup>15</sup>. Чего стоила цензуре его толерантность (он отнюдь не разделял направление бойкого журнала), можно только догадываться. Впрочем, есть одно свидетельство, намекающее нам на тогдашний душевный дискомфорт Ивана Ивановича. И принадлежит оно **Льву Николаевичу Толстому** (1828–1910), который в дневнике 29 декабря 1856 года записал: «Нелепость и невежество цензуры ужасны. Был у Лажечникова, он жалок». Очевидно, что «жалкое» состояние Лажечникова было вызвано той инерционностью цензурного ведомства, которая в те времена обновления общества казалась ещё большей «нелепостью», нежели в недавнюю эпоху николаевской стагнации и «чугунной» цензуры. Лажечников, таким образом, оказывался как бы между молотом нового времени и наковальней старых устоев.

Насколько порядочным, хотя подчас и наивным оставался Лажечников в этих новых обстоятельствах, свидетельствует его полный тѣзка, журналист и писатель, соредактор «Современника» **Иван Иванович Панаев** (1812–1862).

«И. И. Лажечников принадлежит к тем живым, редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую склонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений. Он располагает к себе с первого взгляда своею кротостью, мягкостью, благодушием... Он настоящий поэт, увлекающийся, беспечный, исполненный фантазий, чуждый всякого практического такта, не уживающийся с действительностию и очень неловко входящий с нею в сделки. Он занимал довольно значительную административную должность; но служба никогда не везёт таким людям, и Лажечников вышел в отстав-

<sup>14</sup> Старчевский А. В. Воспоминания литератора // Исторический вестник. 1892. № 11. С. 329.

<sup>15</sup> И. С. Тургенев и круг «Современника». М.; Л., 1930. С. 70.



ку, расстроив свои дела и нажив себе бездну неприятностей и хлопот. Для того чтобы увеличить свой пенсион, он принуждён был в последнее время принять на себя должность цензора; но в этой должности, в беспрестанной борьбе между своею обязанностью и своими убеждениями, он был истинным страдальцем. Дослужившись до пенсионера, он тотчас же оставил ценсорство и говорил, что это счастливый день в его жизни... Благодушие Лажечникова часто доходит до детской доверчивости к людям, до трогательной наивности.

Когда умер Загоскин, Лажечникова, который искал в это время места, один из его знакомых, человек очень почтенный, серьёзный, но с некоторым расположением к юмору, уверил, что вакантное место директора московских театров принадлежит ему по праву, что Загоскин был сделан директором именно за то, что написал «Юрия Милославского» и «Рославлева».

— Кому же,— прибавил юморист,— как не вам, автору «Последнего Новика» и «Ледяного дома», принадлежит его место?..

— Да к кому же мне адресоваться? — спросил его Лажечников.

— Отправляйтесь прямо к директору канцелярии министра двора... Вы не знакомы с ним лично, но это ничего: вас знает вся Россия, к тому же директор был сам литератором, он любит литературу, и я уверен, что он примет вас отлично и всё устроит вам с радостью... Ему только стоит сказать слово министру двора...

Я слышал этот рассказ из уст самого Лажечникова.

— Я по наивности принял это серьёзно,— говорил мне Лажечников,— и отправился к директору.

«Меня ввели в комнату, где уже было несколько просителей, заметив, что надо обождать, что генерал занят. Я ждал директора с полчаса... Наконец, его превосходительство входит; переговорив с несколькими просителями, он обратился наконец ко мне:

— Ваша фамилия? — спросил он меня.

— Лажечников.

— Вы автор „Ледяного дома“?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Не угодно ли пожаловать ко мне в кабинет?..

Мы вошли туда...

— Милости прошу,— сказал директор,— не угодно ли вам сесть?

И сам сел к своему столу.

— Что вам угодно? — спросил он.

Сухой, вежливый тон свысока несколько смутил меня.

“Кажется, я сделал величайшую глупость”, — подумал я; однако ретироваться было уже поздно, и я не без смущения объявил ему, что желал бы получить место Загоскина.

Когда я произнёс это, я видел, что лицо его превосходительства подёрнулось иронией, пришёл от этого в ещё большее смущение и, если бы можно было, убежал бы от него без оглядки, не дождавшись никакого ответа...

— Как... я не дослышал... что такое? Какое место? — произнёс директор, устремляя на меня резкий взгляд.

Я, проклиная внутренне свою доверчивость, повторил глухо: „место директора московских театров“.

Его превосходительство так улыбнулся, что я не знаю, чего бы я не дал в эту минуту, только бы не видеть этой улыбки.

— Какое же вы имеете право претендовать на это место? — спросил он, — вы знаете ли, что это генеральское, очень важное место?

Я не совсем связно отвечал ему, что так как Загоскин, вероятно, получил это место вследствие своей литературной известности, то я полагал, что, пользуясь также некоторою литературною известностию, могу надеяться...

Но директор прервал меня с явною досадою...

— Напрасно вы думаете, что Загоскин имел это место вследствие того, что сочинял романы... Покойный Михайло Николаич был лично известен государю императору, — вот почему он был директором. На таком месте самое важное — это *счётная часть*, тут литература совсем не нужна: она даже может вредить, потому что господа литераторы вообще плохие счётчики. На это место, вероятно, прочат человека опытного, знающего хорошо администрацию, притом человека заслуженного и в чинах...

Я сидел как на иголках. При этих словах я вскочил со своего стула и начал неловко извиняться и оправдываться в том, что обеспокоил его превосходительство.

— Ничего, ничего, — проговорил он, — я сожалею, что не могу быть вам полезным, но я вам должен сказать откровенно, что вам никак нельзя было претендовать на такое место...

Я не знаю, как я вышел от директора... <...>».

Лажечников не столько досадовал на директора канцелярии и на господина, посоветовавшего ему идти к нему, сколько на самого себя, и сам подсмеивался над своею доверчивостию и наивностию...»<sup>16</sup>

\* \* \*

С работой Лажечникова цензором «Современника» связано ещё одно свидетельство, записанное с его же слов журналистом **Фёдором Васильевичем Ливановым** (?–1879), тесно общавшимся с писателем в последний год его жизни.

«В последнее время, бывши цензором в С.-Петербурге, Ив. Ив. Лажечников должен был читать роман Чернышевского «Что делать?» Как честный человек, он не мог посягать без собственной душевной боли на чужую мысль, и в то же время требования службы (как единственное средство жизни) налагали на него известные обязанности. И скольких мучений стоил этот роман И. И. Лажечникову! Он плакал, прося Чернышевского выпустить нецензурное (тогдашнего времени). Чернышевский плакал, защищая своё детище. Обоим было больно до слёз. Оба они собирались, плакали всегда досыта и расходились до следующего раза. И это во всё время цензирования романа. В каком первоначальном виде написан был роман Чернышевского «Что делать?» — знает только маститый старик И. И. Лажечников».<sup>17</sup>

Ещё С. А. Венгеров заметил, что «в том виде, как факт этот передан Ливановым, он безусловно неверен». Роман «Что делать?» печатался в 1863 году, то есть через шесть лет после ухода Лажечникова из цензурного ведомства. (Кстати, именно весной 1863 года, когда вся Россия кинулась

<sup>16</sup> Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 299–302.

<sup>17</sup> Современные известия. 1869. № 119.



читать роман узника Петропавловской крепости, Лажечников писал Некрасову: «Вы знаете, когда, в моё цензорство, хотели запретить “Современник”, я взял его на своё поручительство под угрозю обращать на статьи г. Чернышевского самое строгое внимание»). Тем не менее совместный плач автора и цензора настолько колоритен, что вряд ли был целиком выдуман тем или другим мемуаристом. Что-то похожее было и в самом деле, но только не по поводу знаменитого романа, а в связи с одним из острых журнальных выступлений Чернышевского. Этот факт подтверждается и в мемуарах уже цитированного А. Ф. Кони:

«...с новым царствованием цензурные строгости фактически были ослаблены, и одновременно с этим струя жизни, несколько освобождённой от прежнего гнёта, забила в литературе с особой силой. Однако цензурные ножницы и красный карандаш, не отложенные принципиально в сторону, а лишь несколько притупившиеся, по временам стали по требованиям высшего учебного начальства (тогда цензура была в ведомстве просвещения) приводиться в действие. Лажечникову выпало на долю цензуровать «Современник» и иметь частые и тягостные для доброго старика объяснения с Чернышевским, иногда оканчивавшиеся у цензора слезами по уходе от него «урезанного» публициста».<sup>18</sup>

По рассказу Кони (очевидно, тоже слышанному от Лажечникова) получается, что плакал только цензор, совместный же плач — «привесок» либо Ливанова, либо впавшего в сентиментальность «доброе старичины». Впрочем, нельзя и целиком отвергнуть возможность такого эпизода: Чернышевский при всей своей «крутости» бывал порой лёгок на слезу. Да и жаль вычёркивать из нашей истории хотя бы вероятность такого идеально-человечного сближения консерватора с радикалом. Смог же Салтыков-Щедрин, некогда «обиженный» цензором Лажечниковым, написать в 1863 году в «Современнике»: «г. Лажечников самая сочувственная молодому поколению личность из всей фаланги старых литераторов».

Поразительно, как совпадают, едва ли не дословно, свидетельства разных людей, знавших Лажечникова. Вот какими словами открывал драматург **Александр Николаевич Островский** (1823–1886) юбилейное торжество 50-летия литературной деятельности И. И. Лажечникова 4 мая 1869 года:

«В отношении к литературе и литераторам он один, из весьма немногих, не старел душой: он не ставил начинающим талантам в вину их молодость; никогда высокомерной, покровительственной речью не оскорбил

<sup>18</sup> Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. С. 73.

он начинающего писателя. В продолжение 50-ти лет все художественные деятели были ему современники и товарищи. С первых слов, с первым пожатием руки он становился с молодым талантом, который мог бы быть ему сыном или внуком, в отношения самые простые и дружественные, в такие отношения, как будто они оба начали писать в одно время. Этой черты нам, молодым относительно его литераторам, забыть невозможно. Мальчишек в искусстве для него не было. Оттого и юбилейный праздник Ивана Ивановича богат тёплым чувством и простым, истинно родственным приветом, а не той холодной натянутой почтительностью, которою отличаются обыкновенно другие юбилейные торжества».<sup>19</sup>

\* \* \*

Сохранились воспоминания, созданные, так сказать, в лоне большого семейного клана Лажечниковых–Ложечниковых. Это текст под названием «Быль (воспоминания)», автором которого был **Ростислав Фёдорович Гардин** (1847–1924), боевой офицер, сын Надежды Николаевны Ложечниковой-Гардиной, которая была дочерью старшего брата писателя. Добрый, словоохотливый дедушка был в отличных отношениях с многочисленными чадами от двух его братьев, но лишь один из них стал настоящим семейным летописцем, реализовав художественный дар, бывший, вероятно, родовым качеством. Так, сын самого Ивана Ивановича был поэтом и журналистом, ещё один внучатый племянник писателя — известный художник А. И. Лажечников, а сын Р. Ф. Гардина — популярный актёр Владимир Гардин, который, к слову сказать, сохранил архив отца и передал его в рукописный отдел Публичной библиотеки в Ленинграде (ныне Российская национальная библиотека в Петербурге). Воспоминания, а точнее, семейная хроника Р. Ф. Гардина — живые и точные зарисовки, написанные хорошим языком. Эпизоды из жизни И. И. Лажечникова записаны с его собственных слов, это как бы рассказы дедушки внукам, где жизненную правду не всегда отличишь от семейной легенды. Впрочем, и то и другое имеет право на существование. Приведём несколько отрывков из этого архивного источника (полностью «Быль» вместе с современными комментариями готовится к публикации в третьем сборнике «Дом Лажечникова»).

«Дедушку Ивана Ивановича я помню отлично — он ведь умер только в 1869 году 26 июня и жил последние свои 8 лет в Москве или собственном имении под Москвою, близ с<ела> Сетуни, где я нередко бывал со своими родителями. Имение дедушка назвал Винокуровым по фамилии продавца, своего дальнего родственника.

И. И. Лажечников был небольшого роста, но пропорционально сложенный, с лысинкой, но очень ловко закрытой волосами с затылка, хватавшими даже на устройство хохолка (И<ван> И<ванович> шутил над своей причёской, называя её своим внутренним займом; а подстригая хохолок, говорил, что режет купоны займа). Бороды и усов не носил, но актёрского вида не имел; лица же такого милого сердечного и духовно красивого, я редко встречал в жизни. Дедушка — И<ван> И<ванович> был большой bon-vivant <весельчак, жизнелюб — франц.> и, несмотря

<sup>19</sup> *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 10. М., 1978. С. 62–63.

на свои 60 лет, женился на 20-летней девушке-красавице... И этому нечего удивляться — в дедушку даже мужчины влюблялись, такой он был привлекательный — и по наружности, и в обиходе. Истинное воплощение доброты, ласки, остроумия и безобидного юмора. Побывать у этого дедушки, послушать его милые речи, его рассказы о былом, подышать даже его душистым жуковским табаком, который он всегда покуривал из трубки с длинным чубуком, — доставляло большое удовольствие и тянуло к нему даже такую зелёную молодёжь, каким был я в то время.

<...> И<ван> И<ванович> делается директором Тверской гимназии. Как там шли дела у дедушки — я не знаю, но помню, что милый сердечный старичок с хохолком неоднократно с гордостью вспоминал, что в то дикое время безумного дранья розгами воспитанников у него в гимназии этого позора, как он выражался, не практиковалось никогда! И при этом всегда, — как теперь вижу, — вспыхивало его красивое доброе лицо и ярко поблёскивали голубые глаза. Прошли годы, но и теперь, когда я припоминаю эти минуты, у меня становится ясно на душе и милый образ дедушки весь светится, как в ореоле, в моём воскресшем прошлом...

Но удивительней всего, что либерализм И<вана> И<вановича> несколько не повредил ему по службе (а причина этому, я уверен, кроется в том, что у него, наверно, не было врагов), — и он получил значительное повышение — место вице-губернатора, там же в Твери.

<...> Дедушка Иван Иванович отличался удивительной рассеянностью, причём несколько не стеснялся сам про себя и с великим юмором рассказывать свои невольные погрешности, учинённые на почве рассеянности. Вот одна из них, заставлявшая, при умении рассказывать, смеяться до колик слушателей...

В доме тверского губернского предводителя дворянства танцевальный вечер. На него приглашён и вице-губернатор И. И. Лажечников, который, между прочим, был очень дружен с хозяином дома, большим барином, но простым, симпатичным и широким хлебосолом. И<ван>И<ванович>любил быть одетым хорошо и по моде, а потому взял с собою тогда только появившийся в России шапо-кляк <складная шляпа, цилиндр на пружинах>, недавно купленный им в Петербурге. С этим нововведением под мышкой И<ван> И<ванович> путешествовал по квартире предводителя, раскланиваясь со знакомыми и перебрасываясь с ними несколькими обыденными фразами. Всё, казалось, было в надлежащем тоне и порядке, за исключением... желудка И<вана> И<вановича>. Революционное настроение его заставило г<осподина> вице-губернатора спешно отступить для надлежащего усмирения в места не столь отдалённые. Подобного рода место даже в доме предводителя имело тогда довольно примитивный характер, то есть хотя и тёплое, но без проведённой воды, сиденье хотя и обитое толстым сукном, но... с прозаическим деревянным кружком, украшенным посредине ремешковой петелькой, для удобства посетителей. И<ван> И<ванович>, исполнивши высокий долг администратора, именно извергнувши революционный элемент и восстановивши нормальный порядок, возвратился опять в залу — и торжественно и чудно загулял по ней, пользуясь антрактом между танцами. Но что это такое? В зале начался какой-то шёпот, потом сдержанные взрывы смеха и быстрое почему-то удаление части дамского элемента из залы. И<ван> И<ванович> с удивлением наблюдает, никак не

понимая причины. Вдруг мчит из других комнат к И<вану> И<вановичу> сам хозяин и, еле удерживаясь от смеха, спрашивает:

— Голубчик, Иван Иванович, что это у тебя под мышкой-то?

— Как — что, милый, новость: шапо-кляк!

— Прелестно... Но почему же он с ремешком?

— С каким, чёрт возьми, ремешком?.. — И И<ван> И<ванович> воззрился на свой шапо-кляк. — Боже, я перемешал... там...

К этому дед добавлял, что он, конечно, поспешил переменить кружки, но из дома не уехал, а пошёл в кабинет хозяина и сам про себя рассказал анекдот мужчинам, вместе с ними покатывался над своей невольной погрешностью, как называл он сюрпризы своей рассеянности. А за ужином светски дисциплинированное общество, знакомое с чудодействами милого И<вана> И<вановича> и не заикнулось об инциденте... Да и нужно помнить, что это был *Лажечников* — любимец молодёжи и интеллигенции, фокус общего сердечного тяготения, по адресу которого могла только курсировать любовная шутка, а отнюдь не злая ирония.

Но всему бывает конец. И великому, и смешному. Всему наступает ликвидация. Этот ликвидационный период, литературный и жизненный, последовал для И.И. Лажечникова в 1869 году: блестящее чествование 50-летнего юбилея литературной деятельности и вслед за тем тихая светлая кончина.

К сожалению, виновник торжества не мог лично присутствовать на праздновании, находясь по болезни в постели, с которой ему так и не пришлось встать.

Но он сидел ещё на постели довольно бодро, хотя и при помощи подложенных за спину подушек, и ласково принимал всех желавших засвидетельствовать ему своё почтение по поводу юбилея. Целых три дня была чуть не толчея от посещавших почитателей, так как впускали всех без спроса и разбора.

На этой-то почве, на краю, так сказать, могилы, произошёл КОМИЗМ.

Входит пропущенный в комнату к И<вану> И<вановичу> какой-то пожилой сурового вида господин, по-видимому, купец, с красными большими глазами.

— Вы г. Лажечников? — спрашивает, садясь у постели, гость.

— Да, — отвечает, приятно улыбаясь, добродушный старичок-хозяин.

— Так-с. А вот у меня глаза болят-с.

— Это очень неприятная вещь, — поддакивает сочувственно добрый И<ван> И<ванович>.

— Так-то так-с. А вот чем их полечить, например?

— Да я думаю очень хорошо бы было, — советует любезно хозяин, — прикладывать компрессы из розовой воды.

— Что это вы, шутить изволите? — возмущается гость. — Розовой водой?! Да неужели ж другого никакого лекарства нет, более пользительного?

— А я, право, не знаю, что бы другое посоветовать, — удивлённо и конфузливо заметил И<ван> И<ванович>.

— Да как же это вы, — заволновался купец, — сами дохтур по глазной части, а не знаете, чем лечить?

Дедушка наконец понял и тихо рассмеялся, глядя на удивлённого этим смехом купца.

— Тут, дорогой мой, недоразумение: я действительно Лажечников, но сочинитель, а вам нужно моего племянника, Сергея Николаевича Лажечникова, глазного врача-специалиста. Он живёт в глазной больнице. Вы туда ступайте, милый. А вот вам и моя карточка, с ней вас без задержки примут и помогут.

— Ишь ты, какие оказии бывают. Это всё вертопрах-сынишка мой напутал,— сконфузился купец.— Я, говорит, фамилию сам читал, да и народу страсть к нему идёт. А потом, и вправду сказать, как не спутаться, когда у вас сидят люди в приёмной и только перешёптываются, да поодиночке принимаются, словно у дохтура. Ну, извините, благодарим и прощенья просим.

— Ничего, ничего...— утешал сконфуженного купца И<ван> И<ванович>, подавая ему на прощанье руку.

И тут, до конца, себе верен и характерен любвеобильный И<ван> И<ванович>.

Его отсутствие на торжестве, юбилее очень и больно чувствовалось. А это ведь было торжество всероссийское, праздновавшееся в зале заседаний Московской городской думы. Подъезд, проход в залу и сама зала были великолепно декорированы флагами, арматурами и цветами (это было летом). Городское управление ничего не пожалело, чтобы почтить этот день как подобает. Желающих присутствовать на торжестве было так много, что пришлось пускать только по билетам. Их было выдано лишь тысячу — и то, с прибывшими депутациями, было крайне тесно. Для семьи Лажечниковых была устроена ложа, и я, как принадлежащий к семье, имел там место».<sup>20</sup>

\* \* \*

Уже знакомый нам Ф. В. Ливанов напечатал некролог о Лажечникове в газете «Современные известия». Особое значение этой статье придаёт то обстоятельство, что редактором издания был Никита Петрович Гиляров-Платонов, незадолго до того в Московской городской думе произнёсший красноречивое и душевное слово об основоположнике коломенского текста (в фундамент которого он и сам вскоре заложит второй краеугольный камень). Не исключено, что Никита Петрович приложил свою руку и к публикуемому некрологу.

«В 3 часа утра 26 июня тихо и безмятежно скончался заслуженный русский литератор Иван Иванович Лажечников, предсказав заранее и день своей кончины...

Он указал на два дня, в которые должна душа его расстаться с телом — на четверг 26 июня и воскресенье 29 июня. В последние дни он указал на четверг 26 июня, выражая сожаление, что не доживёт до 29 июня и тем лишит семейство своё пенсии месячной, не дождавшись первого числа. Заранее исповедавшись и приобщившись Св. Таин, он давно приготовился предстать пред лицо Бога, в коего глубоко верил в свою жизнь, и не столько боялся за свою душу, сколько за своё семейство, которое примерно любил. Говорят, что люди, отдавшиеся службе или науке, благоразумны во всех случаях жизни, лично до них не касающихся, всегда считают все

<sup>20</sup> РНБ. Ф. 173. Оп. 2. Ед. хр. 539.

заботы о себе, своих делах и детях чем-то лишним. Покойный, отдавшись служебным трудам и литературе, никогда не забывал своего семейства, скорбел о нём до последних минут и в завещании своём собственноручно написал следующие строки. «Состояния жене моей, равно как и детям моим никакого не оставляю, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранить в своей чистоте. Молю Бога и буду молить в будущем веке, чтобы они были счастливы; прошу и их не забывать меня в молитвах».

«Обнимаю друзей моих и родных и прошу их почтить память мою любовью и попечениями о моих детях. Всё, что ими сделано будет для них будет доказательством их любви и дружбы ко мне». В последнее время, при приближающейся кончине, когда близкие советовали Ивану Ивановичу написать всеподданнейшее письмо Государю Императору и государю Наследнику, знаками внимания коих на юбилейном своём торжестве он был глубоко тронут, старик, благословив семейство, выразился скромно: «Если моему Государю и Наследнику сыну Его угодно будет почтить память обо мне, то я прошу их дать воспитание моим детям — сыну в лице М. Н. Каткова, а двум дочерям в Екатерининском московском институте, если только я того заслуживаю».

Общество с своей стороны намерено почтить заслуги достойного писателя и прекрасного гражданина сооружением мраморного, с вылитым бюстом, надгробного памятника на могиле усопшего, имеющего быть в субботу, 28 июня, похороненным в Новодевичьем монастыре рядом почти с могилою Загоскина. Денежный фонд для сего уже отчислен московским Артистическим кружком, из других лиц желающие подписаться на этот памятник могут записываться до 1 сентября в конторе редакции «Современных известий» и Артистического кружка.

Иван Иванович обладал несомненным талантом и пылким энтузиазмом ко всему доброму и прекрасному. Он имел всегда вокруг себя кружок, куда проникали лишь любовь, дружба, науки и искусства; его ценили все, для кого биение человеческого сердца не есть простое качание маятника. Тайна обаяния его природы заключалась в невыразимой прелести его характера, в его искреннем участии ко всякой личности, с которою он сталкивался. Совершив свой жизненный путь от колыбели до гроба, он едва ли потерял хотя одного друга и едва ли оставил после себя врагов.

Мир же праху твоему, даровитый писатель и честный гражданин! Нам, людям последнего дня, отрадно было встретиться с старцем, украшенным сединами, но сохранившим в себе весь благородный жар молодости, умеряемый только жизненной мудростью. Ты провёл всю жизнь свою в труде для пользы отечества своего, а труд есть первый завет между небом и землею, польза же первый долг, воздаваемый Богу чрез руки человечества, и счастлив тот, кто выполнил полнее и святее. На могиле твоей есть чему поучиться твоим соотечественникам, и дорога к оной, конечно, не зарастёт для потомства!»<sup>21</sup>

Этими словами можно и закончить наш обзор высказываний современников об Иване Ивановиче Лажечникове, чья личность удивительно гармонирует с пафосом его литературных произведений.

---

<sup>21</sup> Современные известия. 1869. № 174. 27 июня.